

ЖАНРОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛУБОЧНОЙ КНИГИ В ПОЭМЕ А. С. ПУШКИНА «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

В монографии В. А. Кошелева «Первая книга Пушкина» подведены итоги изучения «Руслана и Людмилы», раскрыто многообразие контекстуальных связей поэмы с произведениями как русской, так и западноевропейской литературы. Важным методологическим выводом исследования стало представление о том, что текст Пушкина необходимо рассматривать на фоне мировой культурной традиции; всякая попытка изолировать тот или иной подтекст, например фольклорный, от других, неизбежно приводит к сужению и искажению смысла поэмы [1].

Автор книги предлагает воспринять поэму как «энциклопедию культурных аллюзий», которые определили русскую жизнь пушкинского времени. Вывод этот требует, на наш взгляд, определенной коррекции. Поэма Пушкина, наверное, до тех пор будет выглядеть энциклопедией мало связанных друг с другом текстов, пока не выявится структурообразующий принцип, лежащий в основе поэмы. Определение его — дело будущего. В данной работе сделано лишь предположение о том, что таким организующим началом может быть жанровый принцип лубочной книги. Подобная мысль уже была высказана в статье С. А. Фомичева «Пушкин и древнерусская литература», по отношению, правда, к пушкинским сказкам. Лубочная книга интересовала Пушкина как уникальное жанровое явление, где органично соединялись книжная (западноевропейская или восточная) и устная народная традиция. Сказки о Бове Королевиче, Еруслане Лазаревиче, Петре Златые Ключи стали для поэта «низовым» свидетельством «сближения с Европой» [2].

«Сказки, пословицы: доказательство сближения с Европою», — замечает Пушкин. С другой стороны, он высказывает иную мысль: «Несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили полуизглаженные черты народности...» [3]. Как могут, казалось бы, сказки сохранять черты народности и в то же время быть свидетельством сближения с Европой? Но для лубочной книги здесь нет противоречия, поскольку в процессе ее создания восприятие чужой культурной традиции наиболее ярко выявляло особенности народного мироощущения. Тот или иной сюжет переводной книги, попадая на Русь, переосмыслился в национальном духе, русифицировался, сохраняя отчасти и свою специфику [4]. Так возникал живой диалог, принцип которого мог быть подхвачен Пушкиным не только в сказках, но и в поэме «Руслан и Людмила».

В отклике на «Историю русского народа» Н. А. Полевого Пушкин размышляет о России, которая «никогда ничего не имела общего с остальной Европою; история ее требует другой мысли, другой формулы» [5]. Но, безусловно, уже в период создания своей первой поэмы Пушкин задумывался об уникальной «формуле» русской души, русской истории и, возможно, пытался к ней приблизиться в диалоге с мировой культурной традицией,

стремясь художественно воплотить своеобразие русского ответа на чужое слово.

Обратимся к одной из сцен «Руслана и Людмилы» — эпизоду встречи Руслана с живой головой, чтобы показать, как некоторые известные мировой культуре архетипические ситуации трансформируются Пушкиным в соответствии с народным мировоззрением.

«Эпизод с Головой детально прорабатывался в “лицейской тетради” Пушкина и стал в определенном смысле ключевым. Он знаменовал перелом основного замысла “Руслана», — пишет В. А. Кошелев [6].

Удивительной кажется контекстуальная насыщенность этой небольшой, в сущности, сцены. Почти каждая поэтическая фраза «нарушает линейность повествования» (М. Ямпольский), обращая читателя к чужому слову. Причем фольклорные реминисценции переплетаются с мотивами, принадлежащими западноевропейской культурной традиции, что вполне соответствует принципам лубочного повествования.

Разбуженная голова встречает витязя «голосом шумным»: «Куда ты, витязь неразумный? / Ступай назад, я не шучу! / Как раз нахала проглотчу!» [7]. Эта угроза головы проглотить героя заставляет вспомнить Змея Горыныча и Бабу Ягу русских сказок. Ассоциация с Бабой Ягой подкрепляется и следующими строчками: «Нахмурысь, голова вскричала. — / Вот гостя мне судьба послала!» (38).

Напомним, что реакция героя на первые «грубые» слова головы описывается так: «Но витязь знаменитый, / Услыша грубые слова, / Воскликнул с важностью сердитой: / “Молчи, пустая голова! / Слышал я истину бывало: / Хоть лоб широк, да мозгу мало! / Я еду, еду, не свищу, / А как наеду, не спущу!”» (38). Этот фрагмент напоминает сцену столкновения Василия Буслаева с человеческим черепом из былины «Василий Буслаев молиться ездил».

Василий Буслаев, возвращаясь из поездки по святым местам, подплывает со своей дружиной к горе. У подножия горы он видит голову, которую пренебрежительно отбрасывает ногой:

*Будет Василий в полугоре,
Тут лежит пуста голова,
Пуста голова, человечья кость;
Пнул Василий ту голову с дороги прочь...*

Голова предсказывает Василию участь, подобную своей: «Где лежит пуста голова, / И лежать будет голове Васильевой», но Василий не обращает внимания на предсказание, поскольку он, по его словам, «не верует ни в сон, ни в чох» [8].

Далее. Руслан, сопротивляющийся вместе с конем вихрю, поднятому душой головой, подобен Илье Муромцу в поединке с Соловьем-разбойником. К другой былине о Георгии Хоробром отсылает образ крови, рекой бегущей из раненой головы.

С другой стороны, строки: «И между тем она героя / Дразнила страшным языком» (39) вызывают ассоциации с образом горгоны Медузы, кото-

рую изображали с высунутым языком. (Ср., например, изображение в храме Аполлона в Вейях [9].)

Ключевые моменты поединка Руслана с головой соответствуют описанию поединка древнегермесского героя Кадма с драконом, представленному в «Метаморфозах» Овидия. Здесь над телами убитых товарищей Кадма лежит змей, «огромный телом». В поэме «Руслан и Людмила» перед глазами героя появляется голова как огромный холм. У Овидия мы читаем: «Вздуюсь от жил налившихся змеево горло, / Мутная пена бежит из пасти его зачумленной» [10]. У Пушкина: «Надулась голова, как жар, / Кровавы очи засверкали; / Напелясь, губы задрожжали» (38). В «Метаморфозах» герой не может сокрушить дракона глыбой, но поражает его дротом, который затем впивается в его пасть. Вот как это описано: герой «наступающий зев не пускает, / Прямо держа острие. И бесится тот и железо / Твердое тщето извит и ломает о лезвие зубы. / И начинала уж кровь из его ядовитого неба / Капать» [11]. Руслан поражает голову в язык копьём, и картина грызущей железо головы удивительно напоминает сцену из «Метаморфоз»:

*И, задрожжав, булат холодный
Вонзился в дерзостный язык.
И кровь из бешеного зева
Рекою побежала вмиг.
От удивленья, боли, гнева,
В минуту дерзости лишаась,
На князя голова глядела,
Железо грызла и бледнела (39).*

И даже авторское отступление, где ошеломленная ударом голова сопоставляется с замешательством актера, забывшего роль, переключается с «Метаморфозами» Овидия. В сцене поединка Кадма с драконом тоже присутствует параллель с театральным представлением: «В праздник, в театре, когда опускается занавес, так же / Изображенья встают» [12].

В статье «Архаические истоки поэмы Пушкина “Руслан и Людмила”» Н. К. Телетова возводит сцену поединка Руслана с головой к скандинавскому эпосу. В Старшей и Младшей Эддах повествуется о соперничестве двух братьев — великана Фафнира и карлика Регина из-за золота. Присвоив все золото себе, Фафнир перенес его в поле и «приняв облик змея, улегся на золоте». Сигурд, воспитанник Регина, по его наущению убивает дракона. Сигурда в поэме Пушкина заменяет Руслан, а исполина-змея — исполинская голова, полагает Телетова [13].

Этих параллелей вполне достаточно, чтобы определить некую закономерность, присутствующую на уровне контекста. Четыре раза возникает в связи с головой образ змея или дракона, по ходу пушкинского повествования вспоминаются Соловей-разбойник, Баба-яга, горгона Медуза, — весь этот ряд ассоциаций подчеркивает хтоническую природу головы. Сам же поединок героя с головой — хтоническим чудовищем напоминает космогонический процесс преодоления хаоса, воплощенный в архаических мифах многих народов мира. Ра борется с подземным змеем Апопом, Индра — с

Вритрой, принявшим вид змея, Мардук побеждает принявшую вид дракона прародительницу Тиамат, Зевс — титанов, Аполлон — Пифона и т. д. [14].

У Пушкина же представлен весьма своеобразный вариант космогонии, завершением которой становится следующая сцена.

*Тогда на месте опустелом
Меч богатырский засверкал.
Наш витязь в трепете веселом
Его схватил и к голове
По окровавленной траве
Бежит с намереньем жестоким
Ей нос и уши обрубить;
Уже Руслан готов разить,
Уже взмахнул мечом широким —
Вдруг, изумленный, внемлет он
Главы молящей жалкий стон...
И тихо меч он опускает,
В нем гнев свирепый умирает,
И мщенье бурное падет
В душе, молением усмирненной:
Так на долине тает лед,
Лучом полудня пораженный (40).*

Вместо окончательной победы одного начала над другим, торжества победителя над побежденным, поединок заканчивается неожиданным примирением. Более того, последнее намерение Руслана, осуществление которого могло бы закрепить его успех, предстает как варварский, противоестественный акт («ей нос и уши обрубить»). Такая мера наказания, как известно, применялась на Руси по отношению к беглым крепостным крестьянам. Руслан выбирает другой вариант разрешения ситуации, выбирает прощение вместо казни. Нельзя не заметить, что обе эти возможности имеют отношение к реалиям русской жизни и русской истории. Прощение вместо заслуженного наказания — факт для Пушкина не только мифологический или сказочный, но исторический. Так поступают не только Руслан, князь Владимир (сцена с Фарлафом в финале поэмы), царь Салтан, но и Екатерина в «Капитанской дочке» и Петр в «Пире Петра Первого»:

*Нет! Он с подданным мирится;
Винovатому вину
Отпускает, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.*

Русские пословицы зафиксировали ту же модель поведения: «Повинную голову и меч не сечет»; «Покорное слово гнев укрощает»; «Была вина, да прощена»; «За прощеную вину и бог не мучит»; «Повиниться — что богу помолиться» [15].

В процессе космогонии мир качественно преобразуется, но происходит

это всегда за счет подавления и ограничения сферы проявления одного из борющихся начал. У Пушкина же преобразаются оба участника поединка.

В первые минуты встречи с Русланом голова своим поведением вполне соответствует образу великана (которому она и принадлежала прежде), как дикого и невежественного существа [16]. После примирения она оказывается «вразумленной». Но еще более удивительно то, что голова «пустая» становится «главой молящей». По сюжету понятно: голова молит героя о пощаде, но стилистическими средствами Пушкин добивается впечатления не мольбы, но молитвы.

Руслан тоже меняет свои прежние установки. В начале поединка он угрожает: «А как наеду, не спущу!», но не исполняет своей угрозы. Говорилось уже о контекстуальной параллели образа Руслана с образом Василия Буслаева. Последний на протяжении всей жизни игнорирует святыню в каком бы виде она ни предстала: купается голым в Иордан-реке, пренебрежительно относится к человеческому черепу и, нарушая запрет не прыгать через камень, гибелью утверждает бунтарскую сущность своей натуры, ее непримиримость. «“Не верует”» — есть основа мировоззрения Василия Буслаева по отношению к традиционным святыням и предрассудкам» — писал В. Я. Пропп [17]. Руслан же оказывается неожиданно чуток к веянию духа, «который дышит, где хочет». Пушкин не отдает предпочтения тому или иному типу героя, но прислушивается к природе русской души, которой соответствуют две возможности, две противоположные реакции на мир.

Любопытно, что христианский импульс рождается в сцене примирения вне всякой идеологии, а благодаря естественной открытости души героя, способной к восприятию истины. Руслан переживает откровение, которое нисходит на него, подобно солнечному лучу: «И мщенье бурное падет / В душе моленьем усмиренной: / Так на долине тает лед, / Лучом полудня пораженный» (40). Здесь невольно вспоминаются сцены из житийной литературы, повествующие о неожиданном духовном прозрении.

В результате «вразумленной» оказывается не только голова, но и Руслан. Оба героя совершают переход из сферы природных эмоций и аффектов в сферу духа. Поединок, начавшись в духе архаической космогонии, завершается в соответствии с христианским представлением о возможности личностного преображения.

Но вернемся к поединку Руслана с головой. Почему же все-таки вторым участником поединка становится не змей или дракон (ассоциации с которыми «спрятаны» в подтекст), а голова? Голова в начале сцены встречи — источник хаоса, с ней связан мотив безумия: «А голова ему вослед, / Как сумасшедшая, хохочет» (39). Насколько все это соответствует архетипической природе образа?

Как показали в своих исследованиях Вяч. Иванов, Р. Онианс, М. Плюханова, голова является средоточием жизненных сил человека [18]. «Голова есть жизнь или вместилище жизни, — пишет Р. Онианс, — она равна самой личности». Но в голове концентрируется и бессмертная часть человека,

поэтому голова соответствует греческому представлению о псوخе — душе, принципу жизни, которая не разрушается со смертью. Поэтому голова подобна семени, которое уходит под землю и вновь возрождается к жизни [19]. Отделенная от туловища голова воспринималась как божественное вместилище половой возрождающей силы [20], она считалась источником всякого порождения. Ей же приписывался пророческий дар. Можно вспомнить в связи с этим голову великана Мимира в скандинавской мифологии. Мимир был братом матери Одина. Асы отравили Мимира заложенным к ванам, те отрубили ему голову и послали обратно ванам. При помощи колдовства Один сохранил эту голову от разложения, сделав ее вечно нетленной, и в сложных ситуациях советовался с нею, голова открывала ему тайны [21]. Подобную ситуацию из римской истории вспоминает Р. Онианс. Клеомен, царь Спарты, хранил голову своего друга Архонида в сосуде с медом и совещался с ней, принимая важные решения [22]. Пророчествует долгое время после смерти голова Орфея, голова Иоанна Предтечи обличает Ирода после казни. Ссылаясь на исследование Вазера, В. Я. Пропп отмечает, что на античных геммах часто можно встретить изображение бородастых голов, как вырастающих из земли. Эти головы вещают, так как над ними обычно изображена склоненная слушающая фигура, а рот головы несколько приоткрыт [23]. У многих народов существовал обычай сохранять головы умерших врагов или предков. Так поступали германские племена, кельты, семиты, древние греки. Делалось это либо ради обеспечения защиты, либо ради использования пророческого дара головы [24]. «Имея власть над головой (умершего), — пишет Пропп, — имели власть над всем его существом. Этот умерший был вынужден помогать живым» [25].

На русской почве мотив отделенной от тела говорящей головы встречается в русских сказках, былинах, житийной литературе. Но голова очень редко пророчествует. Исключение составляет голова в былине о Василии Буслаеве, предрекающая герою смерть. У Пушкина в поэме голова тоже не обладает отчетливым знанием будущего, она может лишь предполагать о нем: «Быть может, на своем пути / Ты карлу-чародея встретишь — / Ах, если ты его заметишь, / Коварству, злобе отомсти!» (43). Даже если голова обладает даром вещего слова, как, например, в былине о Василии Буслаеве, в житии Меркурия Смоленского и Иоанна Казанского [26], это никогда не сопровождается мотивом сохранения головы. Напротив, русская традиция подчеркивает необходимость придать голову умершего земле.

В русских сказках часто встречается образ говорящей богатырской головы. В своей фундаментальной работе о русских сказках В. Я. Пропп показал, что сюжеты с живой головой вписываются в более широкий круг сюжетов о благодарном мертвце. «Голова в русских сказках, — пишет Пропп, — есть непохороненный мертвец» [27]. Голова обычно просит героя похоронить ее и в ответ на услугу становится дарителем, дарит герою коня или меч. В других сюжетах благодарный мертвец становится советником или помощником героя. Интересно, что в некоторых вариантах былины о Василии Буслаеве голова тоже просит похоронить ее. Но в отличие от сказочно-

го героя Василий этого никогда не делает. «Если ты русска голова, я тебя погребу, / А неверна голова, так проклянущу» [28].

Почему же так важно похоронить мертвеца? Ответ на этот вопрос может дать наблюдение за русской традиционной культурой, самим укладом жизни, который неизменно подчиняется идее круговорота. Жизненный круг для славян, как показал в своих работах Н. И. Толстой, имеет магический смысл. Круг лежит в основе русского календаря, реализуется во всех обрядах жизненного цикла, повседневном обиходе. «В народной культуре, — пишет Толстой, — сакрализуется именно полный, завершенный жизненный цикл, обнаруживается постоянная потребность восполнять пропущенные звенья цепи». И напротив, «неполнота жизненного цикла, неизжитость “своего века” считается источником и причиной различных стихийных бедствий и невзгод для всего социума» [29]. В соответствии с этими представлениями непохороненный мертвец — грубейшее нарушение истонного порядка, которое должно быть устранено. Но ведь голова в поэме Пушкина — это тоже мертвец, которого лишили должного погребения: «Вдали, в стране, людьми забвенной, / Истлел мой прах непогребенный» (42). И то, что голова в этом случае является источником хаоса, неудивительно с точки зрения ценностей традиционной культуры. Пушкин хорошо был знаком с народными поверьями, касающимися похоронного обряда. Об этом свидетельствует прежде всего его «простонародная сказка» «Утопленник» (1828). Мертвецу, который плыл «за могилой и крестом», мужик отказывает в погребении, сталкивая его обратно в воду, и с тех пор каждый год мертвец беспокоит «несчастливого», стучась «под окном и у ворот».

Неестественность положения головы и мертвеца состоит прежде всего в их неподвижности, которая подчеркивается Пушкиным и в том, и в другом случае: «Она глядит недвижным оком», «огромны зубы стеснены», — говорится в поэме. В «Утопленнике» мы читаем: «С бороды вода струится, / Взор открыт и недвижим, / Все в нем страшно онемело». И голова, и мертвое тело не могут участвовать в круговороте, осуществить предназначенный им путь зерна.

Черномор, подобно скандинавскому Одину, при помощи колдовства сохранил голову от разложения, сделав ее вечно нетленной: «И сверхъестественная сила в ней жизни дух остановила», — сказано у Пушкина. Но неподвижная, как бы навсегда законсервированная голова в соответствии с народными представлениями не может быть хранителем мудрости, а лишь воплощением глупости или безумия.

Руслан в поэме не хоронит голову, но два его поединка: с головой и Черномором, способствуют долгожданному переходу великана из этого мира в мир иной: «И наконец я счастлив буду, / Спокойно мир оставлю сей». Смерть головы рисуется как освобождение, суть которого состоит в возобновлении круговорота:

*Уже ее в тот самый час
Кончалось долгое страданье:*

*Чела мгновенный пламень гас,
Слабело тяжкое дыханье,
Огромный закатился взор,
И вскоре князь и Черномор
Узрели смерти содроганье...* (58).

Перед нами возникает картина заходящего солнца. Естественный природный цикл восстановлен.

Представление о мудрости соответствует в поэме народному мировоззрению. Словесное знание будущего уступает место непосредственному осуществлению органического хода жизни.

Автор «Руслана и Людмилы» ведет себя в поэме подобно переписчику лубочной книги, перерабатывая в национальном духе материал, принадлежащий иной традиции. Но то, что для безымянного переписчика переводных книг было бессознательным процессом, стало у Пушкина проявлением авторской творческой воли. Кроме того, насыщая текст образами западноевропейской литературы, Пушкин отталкивается все же не от отдельных мотивов, но ориентируется на устойчивые культурные модели, на фоне которых ярче проявляется специфика национального мышления, национальной психологии.

Примечания

1. Кошелев В. А. Первая книга Пушкина. Томск, 1997.
2. Фомичев С. А. Пушкин и древнерусская литература // Рус. лит. 1987. № 1.
3. Цит. по: Там же. С. 22–23.
4. См.: Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. М., 1964; Елеонская Е. Н. Сказка, заговор и колдовство в России. М., 1994.
5. Цит. по: Фомичев С. А. Пушкин и древнерусская литература. С. 23.
6. Кошелев В. А. Указ. соч. С. 130.
7. Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. С. 28. Далее ссылки на это издание будут даваться в тексте в круглых скобках с указанием страницы.
8. Былины. М., 1957. С. 352–359.
9. Мифы народов мира: В 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 315.
10. Овидий. Метаморфозы. М., 1977. С. 83.
11. Там же.
12. Там же. С. 84.
13. Телетова Н. К. Архаические истоки поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» // Рус. лит. 1999. № 2.
14. См.: Мелетинский Е. М. Хаос и космос. Космогенез // Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1995. С. 202–212.
15. См.: Даль В. Пословицы русского народа. М., 1957. С. 216.
16. О великанах см.: Афанасьев А. Ф. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1994. Т. 2.
17. Протт В. Я. Русский героический эпос. М., 1999. С. 472.
18. Плеханова М. Символ «усеченная глава» и мотив «хождение с головой в руке» в московской словесности // Плеханова М. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995; Онианс Р. На коленях богов. М., 1999; Иванов В. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994.
19. Онианс Р. Указ. соч. С. 112–127.
20. Иванов В. Указ. соч. С. 131.

21. См. примечания к «Старшей Эдде»: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. С. 668.
22. *Онианс Р.* Указ. соч. С. 117.
23. *Пропт В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. СПб., 1996. С. 152.
24. *Онианс Р.* Указ. соч. С. 116–118.
25. *Пропт В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. С. 152.
26. *Плюханова М.* Указ. соч. С. 85–86.
27. *Пропт В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. С. 152.
28. См. об этом: *Пропт В. Я.* Русский героический эпос. С. 469.
29. *Толстой Н. И.* Жизни магический круг // Толстой Н. И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

© Манаенкова Е. Ф.
г. Волгоград

«ГОВОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Размышления, рефлексия, анализ и самоанализ, в которых русская поэзия 20–30-х гг. XIX в. (Пушкин, Баратынский, Веневитинов) достигла больших успехов, стали главной приметой наиболее характерных произведений лермонтовской лирики. Но согласимся с Д. Е. Максимовым, что «эта особенность поэта не делает его рассудочным. Его лирические монологи — это взволнованные рассуждения, темпераментная логика...» [1]. Хотя Белинский назвал Лермонтова «поэтом мысли», он же выделил в лермонтовской поэзии «жажду жизни и избыток чувств» [2].

Поле художественного мышления Лермонтова — его эмоциональная насыщенность. Жизнь «сердца» в поэзии Лермонтова 1837–1841 гг. трудно переоценить. «Сердце» в зрелой лермонтовской лирике включает в себя неисчерпаемое богатство и разнообразие чувств. И тому мы находим многочисленные подтверждения: «Сердца тихого томленье» [3] («Спеша на север из далека», 1837); «Теснится в сердце грусть...» (457) («Молитва», 1839); «На сердце — жадная тоска...» (480) («Журналист, читатель и писатель», 1840); «Родилось в сердце упование...» (563) («Расписку просишь ты, гусар», год неизвестен); «Из сердца слезы выжал я...» (567) («Мое грядущее в тумане...», год неизвестен); «Любовь, сокрывшись в сердце...» (562) («Ах! ныне я не тот совсем...», год неизвестен); «То сердце, где кипела кровь, / Где так безумно, так напрасно / С враждой боролась любовь...» (508) («Оправдание», 1841).

Рациональным путем едва ли возможно понять совершенство, его можно только почувствовать. Поэтому, несмотря на преобладание рефлексирующего сознания в лермонтовской лирике, поэт нисколько не умаляет эмоциональную сферу, не подавляет сердце вечными вопросами рассудка, тем более, если речь заходит о любви. Именно любовь, и Лермонтов убежден в этом, способна дать человеку максимально возможную гамму чувств и переживаний. «Я нашел для сердца рай и ад» (551), — утверждает влюбленный герой стихотворения «Черны очи» (год неизвестен).